



## В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

### О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие

<...>

Сила, свобода, вдохновение — необходимые три условия всякой поэзии. Лирическая поэзия вообще не иное что, как необыкновенное, то есть сильное, свободное, вдохновенное изложение чувств самого писателя. Из сего следует, что она тем превосходнее, чем более возвышается над событиями ежедневными, над низким языком черни, не знающей вдохновения. Всем требованиям, которые предполагает сие определение, вполне удовлетворяет одна *ода*, а посему, без сомнения, занимает первое место в лирической поэзии или, лучше сказать, одна совершенно заслуживает название поэзии лирической. <...> Ода, увлекающаяся предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу Отечества, воспаряя к престолу Неизреченного и пророчествуя пред благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, поработывает слух и душу читателя. Сверх того, в оде поэт бескорыстен: он не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд Промысла, торжествует о величии родимого края, мечет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга.

В элегии — новейшей и древней — стихотворец говорит об самом себе, об *своих* скорбях и наслаждениях. Элегия почти никогда не окрыляется, не ликует: она *должна* быть тиха, плавна, обдуманна; должна, говорю, ибо кто слишком восторженно радуется собственному счастью — смешон; печаль же неистовая не есть поэзия, а бешенство. Удел элегии — умеренность, посредственность (Горациева *aurea mediocritas\**). <...> Она только тогда занимательна, когда, подобно нищему, ей удастся (сколь жалкое предназначение!) вымолить, выплакать участие или когда свежестью, игривою пестротой цветов,

---

\* Золотая середина (лат.). — Ред.

которыми осыпает предмет свой, на миг приводит в забвение ничтожность его. <...>

Изучением природы, силою, избытком и разнообразием чувств, картин, языка и мыслей, народностию своих творений великие поэты Греции, Востока и Британии неизгладимо врезали имена свои на скрижалях бессмертия. Ужели смеем надеяться, что сравнимся с ними по пути, по которому идем теперь? Переводчиков никто, кроме наших дюжинных переводчиков, не переводит. Подражатель не знает вдохновения: он говорит не из глубины собственной души, а принуждает себя пересказать чужие понятия и ощущения. Сила? — Где найдем ее в большей части своих мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных произведений? У нас все *мечта* и *призрак*, все *мнится*, и *кажется*, и *чудится*, все только *будто бы*, *как бы*, *нечто*, *что-то*. Богатство и разнообразие? — Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях. Если бы сия грусть не была просто риторическою фигурою, иной, судя по нашим Чайльдам-Гарольдам, едва вышедшим из пелен, мог бы подумать, что у нас на Руси поэты уже рождаются стариками. Картины везде одни и те же: *луна*, которая — разумеется — *уныла* и *бледна*, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения: *Труда*, *Неги*, *Покоя*, *Веселия*, *Печали*, *Лени* писателя и *Скуки* читателя; в особенности же — туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя<sup>1</sup>.

Из слова же русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих<sup>2</sup> язык, *un petit jargon de coterie*\*. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его *архитравами*, *колоннами*, *баронами*, *траурами*, германизмами, галлицизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются заменить причастия и деепричастия бесконечными местоимениями и союзами. О мыслях и говорить нечего. Печатью народности ознаменованы какие-нибудь 80 стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина<sup>3</sup>.

\* Кружковый жаргон (фр.). — Ред.

Свобода, изобретение и новость составляют главные преимущества романтической поэзии перед так называемую классическую позднейших европейцев. Родоначальники сей мнимой классической поэзии более римляне, нежели греки. Она изобилует стихотворцами — *не поэтами*, которые в словесности то же, что бельцы\* в мире физическом. Во Франции сие вялое племя долго господствовало: лучшие, истинные поэты сей земли, напр<имер> Расин, Корнель, Мольер, несмотря на свое внутреннее омерзение, должны были угождать им, подчинять себя их условным правилам, одеваться в их тяжелые кафтаны, носить их огромные парики и нередко жертвовать безобразным идолам, которых они называли вкусом, Аристотелем, природою, поклоняясь под сими именами одному жеманству, приличию, посредственности. <...> Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Лагарпова «Лицея» и Баттёева «Курса»<sup>4</sup>; но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро большим перед ним дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества!

Всего лучше иметь поэзию народную. Но Расином Франция отчасти обязана Еврипиду и Софоклу? Человек с талантом, подвизаясь на пути своих великих предшественников, иногда открывает области новых красот и вдохновений, укрывшиеся от взоров сих исполинов, его наставников. Итак, если уже подражать, не худо знать, кто из иностранных писателей прямо достоин подражания? <...> Было время, когда у нас слепо припадали перед каждым французом, римлянином или греком, освященным приговором Лагарпова «Лицея». Ныне благоговеют перед всяким немцем или англичанином, как скоро он переведен на французский язык: ибо французы и по сию пору не перестали быть нашими законодателями; мы осмелились заглядывать в творения соседей их единственно потому, что *они* стали читать их.

При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей.

Но не довольно — повторяю — присвоить себе сокровища иноплеменников: да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности.

---

\* Белец, или альбинос, белый негр. — *Примеч. В.К. Кюхельбекера.*

Станем надеяться, что наконец наши писатели, из коих особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Здесь особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая<sup>5</sup>, подают великие надежды. <...>

## <Из дневников, писем и заметок 1832–1836 гг.>

*1832. 26 января*

Не знаю, удастся ли мне ясно выразить мысль, которая с некоторого времени носится в голове моей и мне кажется довольно основательною. По Шеллингу, искусство есть не что иное, как Природа, действующая посредством (*durch das Medium*) человека<sup>1</sup>. Итак, всякое произведение искусства должно быть вместе и произведением природы вообще, природы человека в частности, природы творящего художника в особенности: оно должно быть зарождено в душе того, кто производит, должно быть *необходимым* следствием его способностей, склонностей, личности; должно соответствовать потребностям его века и отечества (времени и местности, составляющих в совокупности *частное* проявление человечества); наконец, должно быть основано на мировых, неизменных законах творческой силы и творимого естества. Истину сего правила относительно к моему лицу я испытал в течение всей моей поэтической жизни: чем хладнокровнее, чем точнее мои планы были обдуманы, тем менее они мне удавались; напротив, всякий раз, когда я следовал голосу мысли, зародившейся в глубине моего Я, поразившей меня незапно, когда сообразовался с теми мгновенными вдохновениями, которые навевались на меня обстоятельствами, и только не терял из виду главной меты своей, — тогда успех неожиданный и непредвиденный увенчивал труд мой.

*1834. 25 июля*

<...> Булгарина письмо о русской литературе<sup>1</sup> — само по себе разумеется, что тут нет даже Полевого<sup>2</sup>, — однако, несмотря на многое и многое фальстафское, есть же кое-что, по крайней мере что-то похожее на несколько шутовскую, порою почти бесстыдную искренность; сверх того, отголосок нынешних требований если и не людей, мыслящих